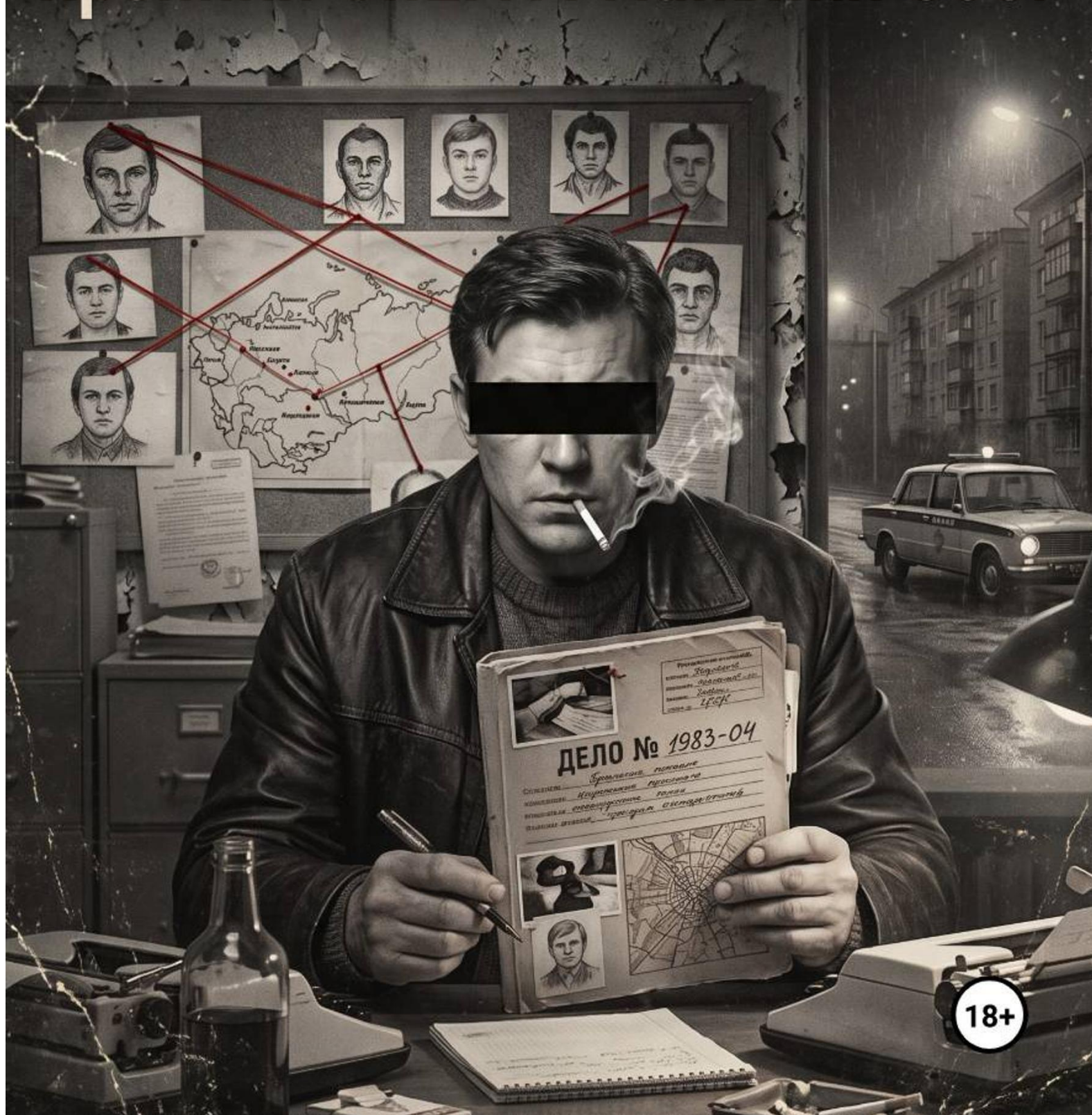


ПАВЕЛ ГРОМОВ

КРАСНАЯ ТЕНЬ

хроники ОПЕРА : маньяки СССР



Павел Громов

**КРАСНАЯ ТЕНЬ. Хроники
ОПЕРА : маньяки СССР**

«Автор»

2026

Громов П.

КРАСНАЯ ТЕНЬ. Хроники ОПЕРА : маньяки СССР /
П. Громов — «Автор», 2026

Павел Громов, оперуполномоченный в отставке, открывает архивы, которые десятилетиями были под грифом «Секретно». Никаких домыслов, только голые факты от человека, который там был. Вы почувствуете холод страха, который сковывал целые города, и станете свидетелем того, как оперативники шли по следу, рискуя всем. Это не просто True Crime, это часть жизни человека, который знает эту работу изнутри. Для всех любителей True Crime, кто ценит подлинность и честность. Эта книга — дань уважения тем, кто боролся с «красной тенью» и победил.

© Громов П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

МосГаз	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Павел Громов

КРАСНАЯ ТЕНЬ. Хроники ОПЕРА : маньяки СССР

МосГаз

Москва. Декабрь 1963 года. Хрущевская оттепель.

Время парадоксов. Страна только что запустила человека в космос. В кинотеатрах крутят «Я шагаю по Москве». По радио поют про светлое будущее, которое вот-вот наступит. Люди верят. Верят искренне, до кома в горле. Строятся новые районы — пятиэтажные коробки. Зато свои. Коммуналки с их вечными склоками понемногу уходят в прошлое. Жизнь, черт возьми, налаживается.

А ключи от квартир лежат под ковриком.

Серьезно. Под обычным пыльным ковриком у входной двери. Или торчат прямо в замочной скважине. Заходи, кто хочешь. Двери деревянные, тонкие, оббитые дешевым дерматином. Открываются хорошим ударом плеча. Но никто не бьет. Зачем? Воровать у советского человека нечего. Хрустальная ваза в серванте, радиоприемник «Спидола» да подшивка журнала «Огонек».

Город спит спокойно. Город убаюкан собственной безопасностью. Город не знает, что в его венах уже пульсирует яд. Что система дала сбой, породив монстра, которого в идеальном советском обществе просто не могло существовать.

Петровка, 38. Легендарный МУР.

Длинные коридоры выкрашены унылой зеленой краской. Кабинеты пропитаны табачным дымом так густо, что его можно резать ножом. Смесь «Беломорканала», термоядерной «Примы» и застарелого мужского пота. На массивных столах — горы бумаг. Пепельницы полны окурков. Опера пьют остывший, черный как деготь чай из граненых стаканов.

Обычная рутина. Кражи на Казанском вокзале, уличная хулиганка, бытовуха. Муж по пьяни жену стукнул, соседи из-за примуса подрались. Всё понятно. Всё читается на раз-два. Никто не ждет серийника.

Такого слова даже в милицейском лексиконе нет. Маньяки, серийные убийцы — это там, у них, на загнивающем Западе. У нас строители коммунизма друг друга топорами не рубят ради удовольствия. Идеология не позволяет.

Но этот — другой. Он не вписывается в картотеку.

Он не пьет перед делом для храбрости. Он работает чисто. Холодно. Как по расписанию. Его главная отмычка — не кусок гнутой проволоки и не фомка. Его отмычка — слово. Одно короткое, будничное слово, открывающее любую дверь в этом наивном городе.

«Мосгаз».

Темное пальто. Шапка-ушанка. Уверенный, спокойный голос из-за двери.

— Проверка газового оборудования, хозяева. Открывайте.

И они открывают. Домохозяек десятилетиями приучали доверять людям из госучреждений. Детям с пеленок вбивали в голову: взрослых надо слушаться. Человек из конторы — лицо официальное. Ему нельзя отказывать.

Щелчок хлипкого замка. Скрип петель. Шаг внутрь.

Дверь закрывается. Запах щей и стирального мыла скоро смешается с запахом железа. Медным запахом свежей крови.

Двадцатое декабря. Улица Балтийская. Тихий район. Обычная квартира.

Костя Соболев. Мальчишке всего двенадцать лет. Он один дома. Делает уроки. Слышит стук в дверь. Идет в коридор.

— Кто там?

— Мосгаз. Проверка.

Костя поворачивает защелку. Он не знает, что только что впустил смерть. Смерть вытирает ноги о коврик и прячет за пазухой туристический топорик.

Через несколько часов в эту квартиру набьется следственная группа. В воздухе висит тяжелый, тошнотворный дух. Кровь на дощатом полу уже начала сворачиваться, превращаясь в липкую, блестящую массу. Эксперт-криминалист молча делает снимки. Вспышка старенького фотоаппарата режет полумрак, выхватывая из темноты детали.

Удар топором. Точный. Жестокий. Никакой жалости к ребенку.

Опер стоит в углу, надвинув шляпу на лоб. Желваки ходят ходуном под небритой кожей. Он повидал всякое, но от этого зрелища ком подкатывает к горлу. Это не просто бытовуха. Это не пьяная поножовщина у пивного ларька. Это хладнокровная бойня.

Начинают осмотр. Составляют опись. Что взял убийца? Ради чего загубил пацана? Может, в квартире были спрятаны золотые червонцы? Или облигации госзайма на крупную сумму?

Смешно. И страшно.

Взял детский свитер. Пару вещей из шкафа. Шестьдесят рублей мелочью. И флакон дешевого советского одеколона.

Копеечный хабар. Жизнь ребенка оценена в стоимость поношенного свитера. Следовательно устало трет переносицу. Дело пахнет скверно. С самого начала это выглядит как стопроцентный глухарь. Ни свидетелей. Ни отпечатков пальцев, пригодных для идентификации. Ни мотива, который укладывался бы в нормальную милицескую логику.

Всяк чистой воды.

Начинается оперативная разработка. Маховик МУРа со скрипом проворачивается. Ищем ниточки в стоге сена. Поквартирный обход. Десятки, сотни бессмысленных разговоров. Участковые стирают подошвы сапог.

— Видели кого подозрительного?

— Да вроде ходил какой-то мужчина. В шапке. Сказал, из газовой службы. Трубы смотрел.

Словесный портрет расплывается. Никаких особых примет. Рост средний, лицо среднее. Человек-невидимка. Вещдоков — ноль. Топора на месте преступления нет. Унес с собой. Оружие — всегда главный козырь следствия, но тут его забрали. Оставили только запекающую лужу и звенящую пустоту в прихожей.

Система еще не понимает, с чем столкнулась. Партийное начальство обрывает телефоны. Требуют быстрых результатов. Раскрыть по горячим следам! Доложить наверх! А как ты доложишь, если гоняешься за призраком?

Следователи еще надеются, что это разовый эксцесс. Залетный гастролер. Псих. Но чутье старых сыскарей воеет сиреной: он не остановится. Хищник попробовал кровь. Он переступил черту. И понял, как это чертовски просто в стране, где все друг другу братья. Люди сами открывают двери. Сами подставляют затылки под обух.

Москва продолжает жить. На Патриарших прудах звенит лед под коньками. Бабушки в пуховых платках занимают очереди за молоком. Дети играют во дворах в снежки до темноты.

А где-то в этой толпе, среди серых пальто, идет человек. Тяжелый металл холодит бедро сквозь ткань брюк. Он уже выбирает следующую улицу. Следующий подъезд.

Он репетирует про себя эту идеальную фразу.

— Мосгаз. Открывайте.

Архивный том номер один с глухим стуком ложится на стол. Серая картонная папка, перевязанная тесемочкой. Внутри — пока только протоколы осмотра трупа и допросы соседей. Но скоро к ней добавятся новые тома. Внутри этой папки рождается первобытный страх целого города. Страх, который заставит всю страну снять ключи из-под ковриков, врезать тяжелые замки на цепочках и навсегда перестать верить чужакам.

Глухарь открыт. Охота началась.

Кровавый снег и партийный гнев.

Декабрь катится к Новому году. В Москве минус двадцать. Снег хрустит под валенками, как битое стекло. Город готовится резать оливье и открывать «Советское шампанское».

А у следственной бригады во рту вкус пепла.

Двадцать пятое декабря. Иваново. Ткацкая столица. Двести пятьдесят километров от Москвы. Расстояние для маньяка — не преграда, если у него есть билет на поезд и жажда крови.

Очередной адрес. Очередная деревянная дверь. Очередной мальчишка за ней. Миша Макаров. Двенадцать лет.

Сценарий тот же. Стук. «Мосгаз» — только теперь, видимо, ивановский. Наивный щелчок замка.

Удар. Еще удар. Топорик со свистом рассекает воздух.

Квартира превращается в бойню. Вещдоков снова кот наплакал. Преступник забирает пиджак старшего брата Миши, копеечные часы и какие-то тряпки. Хабар базарного воришки, а не расчетливого убийцы.

Местные опера топчутся в прихожей. Курят «Приму», стряхивая пепел в спичечные коробки. Смотрят на лужу крови, в которой отражается тусклая лампочка Ильича. Висяк. Очередной глухарь.

Но телетайпы уже стучат. Сводки летят в Центр. В кабинетах на Петровке, 38, два дела ложатся на один стол. Москва и Иваново. Два трупа. Два пацана. Одинаковый почерк. Одинаковый инструмент. Одинаковый мотив, точнее — его полное, пугающее отсутствие.

Система содрогается. До оперов доходит страшная истина. Это не гастролер. Это не случайность. В стране победившего социализма завелся серийник. Зверь, который убивает ради процесса.

Двадцать восьмое декабря. Зверь возвращается в Москву. Ему мало. Голод не утолен.

Квартира на Ленинградском проспекте. На этот раз дома не ребенок. Дома пенсионерка. И снова тот же трюк. Уверенный стук. Волшебное слово «Мосгаз».

Бабушка открывает. Взмах топора. Тишина.

В этот же день, спустя несколько часов — новый адрес. Улица Мархлевского. Женщина. Снова топор. Снова кровь на паркете.

Четыре трупа за неделю.

Москва взрывается. Самое страшное оружие в закрытом обществе — это слухи. Газеты молчат. По телевизору показывают надои и сталеваров. А на кухнях шепчутся. Шепот перерастает в гул.

«По городу ходит маньяк».

«Убивает детей и женщин».

«Носит с собой газовый баллон, травит, а потом рубит топором».

Паника расползается по столице, как черная плесень по сырой стене. Двери коммуналочек обрастают засовами. В магазинах сметают дверные цепочки и тяжелые врезные замки. Мужики забирают детей из школ. Женщины боятся выносить мусор. Город, который еще вчера жил нараспашку, сжимается в параноидальный комок. Слово «Мосгаз» теперь звучит страшнее,

чем сирена воздушной тревоги. Настоящих газовщиков спускают с лестниц, травят собаками, сдают в милицию пачками.

На Петровке ад.

Кабинеты завалены ориентировками. Телефоны раскалены добела. Звонят бдительные граждане. «В трамвае ехал подозрительный тип с топором!» — опера срываются, крутят мужика. Оказывается — плотник, ехал со смены. И так десятки раз на дню.

Следственную группу возглавляет цвет МУРа. Подключают КГБ. Чекисты роют носом землю. Это уже не просто уголовщина. Это политический провал.

Сводка ложится на стол самому Никите Сергеевичу Хрущеву.

Первый секретарь ЦК КПСС багровеет. В стране Советов маньяков быть не может. Точка. Это пятно на репутации всей системы.

Кулак бьет по полированному дереву правительственного стола. Приказ короткий, как выстрел в затылок:

— Найти за две недели. Или положите партбилеты на стол.

Часы тикают. Две недели. Четырнадцать дней на то, чтобы вытащить невидимку из многомиллионного города.

Начинается беспрецедентная оперативная разработка. Тотальная облава.

Милиция прочесывает вокзалы, рынки, притоны. Трясут всех спекулянтов и фарцовщиков. Убийца брал вещи — значит, должен их где-то сбывать. Тряпки — вот единственная ниточка. Грязная, тонкая ниточка, тянущаяся за кровавым следом.

В это время следователи пытаются составить хоть какой-то портрет. Опрашивают выживших соседей. Тех, кто видел убийцу в подъездах.

Показания путаются. Человеческая память — дрянной свидетель, особенно когда накачана страхом.

— Вроде высокий.

— Нет, среднего роста.

— В кепке.

— В ушанке!

Рисуют первый в истории СССР фоторобот. Художник-криминалист работает сутками. Из десятков разрозненных черт проступает лицо. Обычное. Серое. Лицо человека, с которым ты можешь ехать в одном вагоне метро и даже не взглянуть на него дважды.

Следователь курит уже третью сигарету подряд, глядя на этот карандашный набросок.

— Кто же ты такой, тварь? — шепчет он в прокуренный воздух кабинета.

А тварь в это время считает украденные рубли, сдает поношенные вещи в комиссионку и планирует новый визит. Он упивается своей безнаказанностью. Он уверен, что умнее их всех.

Слепые котята и красные телефоны.

Петровка, 38. Третий этаж. Зима снаружи, ад внутри.

Воздух в кабинетах можно резать ножом и подавать на обед. Смесь дешевого табака, застарелого мужского пота и остывшего суррогатного кофе. Пепельницы давно переполнены. Окурки гасят прямо о края столов. Стук пишущих машинок «Ятрань» сливается в единый пулеметный треск.

Система работает на износ. Оперативная разработка идет по всем фронтам, но мы топчемся на месте. Мы — слепые котята в темной комнате. А в комнате — мясник с топором.

Начинаем с очевидного. Газовщики.

Если он говорит «Мосгаз», значит, знает, как они выглядят. Как ходят. Как стучат. В коридорах МУРа не протолкнуться. Сюда согнали сотни настоящих работников газовой службы. Мужики в засаленных ватниках. Пахнут машинным маслом, морозом и страхом. Они жмутся по стенам, крутят в огрубевших руках шапки.

Следователи работают на конвейере.

— Имя. Фамилия. Где был двадцатого декабря? А двадцать пятого? Кто может подтвердить?

Допросы идут сутками. На измор. Мы выворачиваем их наизнанку. Ищем сбой в алиби. Дрогнувший голос. Бегающий взгляд. Но перед нами просто работяги. Уставшие, напуганные мужики, которые после смены хотят накатить сто грамм и лечь спать. Никто из них не рубил пацанов топором.

Очередной газовщик выходит из кабинета, вытирая липкий пот со лба. Очередной протокол летит в пухлую папку. Нулевой результат. Пустая порода.

А Москва тем временем сходит с ума.

Город потерял невинность. Слухи ползут по улицам быстрее тифа. Газеты молчат — партия запретила сеять панику. Но сарафанное радио работает на полную мощность. На кухнях, в очередях за хлебом, в трамваях — только один разговор.

— Говорят, он газовым баллоном усыпляет...

— Говорят, он только женщин в красном убивает...

— Говорят, это банда...

Люди — опасные животные, когда напуганы. Город ошетинился. В хозяйственных магазинах за день смели все амбарные замки, засовы и дверные цепочки. Те самые двери, что вчера открывались от пинка, теперь напоминают сейфы. Ключи из-под ковриков исчезли навсегда.

И начался хаос. Паника рождает паранойю.

Телефоны в дежурке разрываются. Граждане бдят. Каждая старушка у окна теперь внештатный сыщик.

— Аллю! Милиция! У нас во дворе подозрительный мужик трется! В шапке!

Патруль срывается с места. Сирены воют. Задерживают, крутят руки. Привозят в отдел. Выясняется — слесарь из ЖЭКа пришел трубы чинить.

Настоящим газовщикам теперь хоть увольняйся. Их не пускают на порог. Травят собаками. В Кунцево бдительные соседи спустили проверяющего с лестницы, сломали ребра. Просто за то, что он сказал: «Мосгаз».

Сотни ложных вызовов. Тонны макулатуры. Опера бегают по ложным следам, стирая подошвы до дыр. Город генерирует белый шум, в котором тонут реальные зацепки. Дело превращается в один гигантский, пульсирующий висяк.

А давление сверху растет.

В кабинете начальника угрозыска звонит аппарат спецсвязи. Правительственная «вертушка». Красный телефон. Цвет крови и партийного гнева.

На проводе — Кремль. Сам Хрущев.

Никита Сергеевич рвет и мечет. Для него это не просто трупы. Это политическая диверсия. Это плевок в лицо советской идеологии. В стране победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, не может быть серийных убийц! Это пережиток капитализма!

Голос в трубке срывается на хрип. Угрозы сыплются как град.

— Если не найдете ублюдка до конца года... Погоны полетят у всех! На лесоповал пойдете, дармоеды!

Дедлайн установлен. Часики тикают. Дамоклов меч висит над Петровкой. КГБ дышит в затылок, готовые в любой момент перехватить дело и закопать самих сыскарей.

Нужен прорыв. Хоть что-то. Нам нужно лицо.

Эксперт-криминалист Софья Файнштейн берется за невозможное. Составить портрет призрака. Выживших почти нет. Те, кто видел его мельком — соседи, случайные прохожие — дают показания, от которых хочется выть.

— У него глаза злые...

— Он был в пальто...

— Обычный такой, неприметный.

Файнштейн садится с ними. Час за часом. Извлекает из их травмированной памяти детали. Разрозненные черты. Овал лица. Форма носа. Посадка глаз.

В СССР такого еще не делали. Это первый в истории советской криминалистики фоторобот. Художник собирает лицо, как пазл Франкенштейна.

Штрих за штрихом. Карандаш скрипит по плотной бумаге. В кабинете стоит мертвая тишина. Опера стоят за спиной художника, затаив дыхание.

С листа на них смотрит человек.

В этом самое страшное. В нем нет ничего демонического. Никаких шрамов, безумного оскала или стеклянного взгляда. Обычная физиономия. Кепка-восьмиклинка. Чуть выдающийся подбородок. Глаза без выражения. Лицо толпы. Лицо человека, который прямо сейчас может ехать с тобой в одном эскалаторе метро, и ты даже не обратишь на него внимания.

Банальность зла в чистом виде.

Копии фоторобота размножают тысячами. Они ложатся на столы участковых. Расклеиваются на вокзалах. Раздаются патрулям. У нас наконец-то есть мишень.

Теперь мы знаем, кого ищем. Осталось понять — где он прячется. И какую дверь он постучит следующей.

Казанский лед и треск фарфоровой маски.

Двенадцатое января. Шестьдесят четвертый год.

Поворотный момент в любом глухаре наступает тогда, когда хищник решает, что он умнее всех. Когда кровь пьянит, а безнаказанность отключает инстинкт самосохранения. Ионесян совершил ошибку. Классическую. Банальную. Он прокололся на бабе и на жадности.

Москва гудит от ужаса, МУР роет носом землю, а этот ублюдок решает сыграть в щедрого кавалера.

Во время последнего визита на Шереметьевскую улицу он забирает телевизор «Рекорд». Громоздкий, тяжелый, обшитый шпоном ящик. Тащит его на себе. Ради чего? Ради Алевтины Дмитриевой. Танцовщицы кордебалета. Его музы. Его слепого, наивного алиби. Он врет ей, что работает тайным агентом КГБ. Что выполняет секретные задания. И она верит.

Но телевизор — это вещдок. Железобетонный, номерной вещдок. Телевизор оставляет след.

Оперативная сводка. Донос. Сигнал от шофера грузовика, который помогал грузить этот чертов ящик. Ниточка дернулась. Маховик Петровки раскручивается с визгом. Через несколько часов дверь в квартиру Алевтины вылетает вместе с косяком.

Ее берут жестко. Слезы, истерика, размазанная тушь.

— Где он?

Она трясется. Понимает, что запахло жареным. Секретный агент оказался упырем с топором.

— В Казань... Он уехал в Казань. Сказал, на спецзадание.

Телетайп выбивает дробь. Срочная депеша в Татарию. Казанский уголовный розыск поднят по тревоге. Времени в обрез. Если он почует хвост — уйдет на дно. Растворится в бескрайних советских просторах.

Железнодорожный вокзал Казани. Перрон засыпан снегом. Ветер режет лицо как бритва. Минус двадцать пять. Холод собачий. Стынет кровь, стынет смазка в табельных Макаровых.

Оперативники в тяжелых тулупах сливаются с толпой. Глаза красные от недосыпа. В карманах стынут руки. Дыхание превращается в густой белый пар. Они ждут поезд из Москвы. Каждого пассажира сканируют сквозь прищур. Фоторобот впечатан в сетчатку каждого сыскаря. Кепка-восьмиклинка. Тяжелый подбородок. Пустой взгляд.

Вот он.

Сходит по ступенькам вагона. Спокойный. Уверенный. Идет ровным шагом. Хищник на чужой территории, но чувствует себя хозяином.

Брать на перроне нельзя. Слишком много людей. Начнется пальба, могут быть жертвы. У него в кармане наверняка ствол или тот самый топор. Оперативная разработка переходит в фазу слежки. Тонкая игра. Шаг в шаг. Тень за тенью.

Он садится в трамвай. За ним прыгают двое "топтунов". Вагон трясется, стекла покрыты толстым слоем изморози. Внутри пахнет мокрой шерстью и дешевым табаком. Ионесян смотрит в окно. Он ничего не замечает. Его бдительность спит. Он уверен в своей гениальности.

Конечная точка — улица Железнодорожная. Тихий, спальный район. Деревянный двухэтажный барак. Скрипучая деревянная лестница. Он снимает здесь комнату. Идеальное укрытие.

Группа захвата окружает дом. Все выходы перекрыты. Под окнами — люди. На лестничной клетке — засада.

Подъезд воняет квашеной капустой и кошачьей мочой. Тусклая лампочка едва освещает обшарпанные стены. Опера стоят по обе стороны от дерматиновой двери. Дышат через раз. Пистолеты сняты с предохранителей. Щелчки кажутся оглушительными в этой мертвой тишине.

Ждать. Самое ненавистное в нашей работе. Ждать, пока объект расслабится.

Проходит час. Второй. За дверью скрипят половицы. Слышно, как закипает чайник. Убийца пьет чай. Наслаждается жизнью. Наслаждается покоем, пока кровь московских детей въедается в паркет в тысяче километров отсюда.

Сигнал. Пора.

Короткий, мощный удар ногой в район замка. Дверь хрустит и распаивается настежь.

— Милиция! Стоять!

Врыв. Доли секунды. Ионесян дергается к карману пальто, висящего на стуле. Там его смерть — или наша. Но опер бросается ему в ноги. Жесткий захват. Бросок на пол. Треск ломающейся табуретки. Тяжелый ботинок придавливает горло к грязному линолеуму.

— Руки за спину! Давай руки, гнида!

Щелчок наручников. Звук, слаще которого нет ничего на свете. Холодная сталь смыкается на запястьях первого серийного убийцы Советского Союза.

Его поднимают с пола. Лицо красное от удушья. Но в глазах... В глазах нет страха. Там презрение. Холодное, расчетливое презрение. Он смотрит на оперативников, как на грязь под ногтями.

— Вы совершаете ошибку, товарищи. Я сотрудник госбезопасности. Под прикрытием.

Опер бьет его наотмашь по лицу. Коротко. Без замаха.

— Заткнись. Твое прикрытие закончилось, «Мосгаз».

Обыск дает всё. Вещдоки звенят, как новогодние колокольчики. В кармане пальто — туристический топорик. Тяжелый. Лезвие тщательно вымыто, но на топорике под лупой эксперт позже найдет бурые пятна. Кровь. Билет до Москвы. Деньги.

Всяк закрыт. Птичка в клетке. Но это только половина дела. Теперь его надо расколоть. Москва. Лубянка. Следственный изолятор.

Стены выкрашены в мерзкий зелено-серый цвет. Цвет тоски и безысходности. В камере холодно. Под потолком гудит лампа в металлической сетке. За столом сидит следователь. На столе — пухлая папка уголовного дела. И одна дешевая сигарета, дым от которой медленно ползет к вентиляционной решетке.

Напротив сидит Владимир Ионесян.

Начинается интеллектуальный поединок. Шахматная партия, где ставкой является расстрельная статья.

Ионесян — не обычный урка. Он не будет колотиться за пайку чая. Он умен. Изворотлив. У него хорошо подвешен язык. Он неудавшийся артист театра, и сейчас он играет главную роль в своей жизни. Роль невинно осужденного гения.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, гражданин следователь, — его голос звучит бархатно, спокойно. Он сидит закинув ногу на ногу. Наручники сняли. Он потирает запястья. — Какой топор? Какие дети? Я артист. Я творческий человек. Вы ломаете мне жизнь.

Следователь молчит. Это старый прием. Выдержать паузу. Заставить подозреваемого заполнять тишину словами. Слова — это ошибки.

Минута. Две. Пять минут. Слышно только, как капает вода в раковине в углу камеры.

Следователь медленно открывает папку. Выкладывает на стол фотографии. Черно-белые снимки с мест преступлений. Залитый кровью пол. Изувеченные тела. Мертвые глаза мальчишек, смотрящие в потолок.

— Это тоже твоё искусство, Володя? — голос следователя сухой, как наждачная бумага. — Так ты самовыражаешься?

Ионесян даже не моргает. Он смотрит на фотографии с безгловым любопытством. Как театальный критик на плохую постановку.

— Ужасно. Сочувствую родственникам. Но при чем здесь я? Вы нашли у меня топор? Миллионы людей ходят с топорами в походы. Вы нашли кровь? Докажите, чья она.

Он строит защиту на косвенных уликах. Он знает систему. Знает, что без чистосердечного признания суд будет вязнуть в деталях. Он хочет затянуть процесс. Выставить следствие дураками. Он считает себя кукловодом.

Допрос длится десять часов подряд. Следователи меняются. Воздух в камере становится тяжелым, спертым. Пахнет потом и крепким табаком. Ионесян держится. Отвечает односложно. Улыбается. Эта тонкая, издевательская улыбка бесит оперов до зубовного скрежета. Хочется взять этот самый топорик и вбить ему признание прямо в череп. Но нельзя. Нужен протокол. Чистый, красивый протокол для партийного начальства.

— Володя, ты же понимаешь, что вышка тебе обеспечена? — следователь устало трет глаза. — Чистосердечное скостит тебе... ну, скажем, избавит от побоев в пресс-хате.

— Мне не в чем признаваться, начальник. Я чист.

Стена. Железобетонная стена. Он не ломается. Он наслаждается вниманием. Он, мелкий воришка и бездарный актеришка, заставил плясать под свою дудку весь МУР и КГБ. Он в центре мироздания.

Пора доставать козырь.

В любом механизме есть слабая деталь. Пружинка, которая держит всю конструкцию. У Ионесяна этой пружинкой было его раздутое эго. Его уверенность в собственной исключительности. И его слепая вера в то, что он всё предусмотрел.

Следователь встает. Подходит к двери. Коротко стучит. Дверь открывается, и конвойный заносит в кабинет картонную коробку. Ставит на стол.

Ионесян напрягается. Его взгляд прикипает к коробке. Улыбка на секунду сползает с лица, но он тут же возвращает ее на место.

— Что это? очередной дешевый фокус?

Следователь молча открывает коробку. Вытаскивает оттуда вещи. Медленно. С расстановкой.

Детский свитер машинной вязки. Поношенный, с заштопанным локтем.

Дешевый флакон одеколона «Шипр».

Мужской пиджак из грубого сукна.

Пара стоптанных женских туфель.

Копеечный хабар. Мусор, из-за которого были оборваны жизни.

— Знакомые вещи, Володя? — тихо спрашивает следователь.

— Первый раз вижу. Барахолка какая-то.

И тогда следователь достает последнюю вещь. Главный вещдок. То, что разрушит его выдуманный мир до основания.

Это лист бумаги. Обычный протокол допроса. Но внизу стоит подпись. Размашистая, знакомая подпись.

Следователь разворачивает лист так, чтобы Ионесян мог прочитать.

— Это протокол допроса Алевтины Дмитриевой. Твоей Али. Твоей музы. Знаешь, что она тут пишет? — следователь бьет пальцем по бумаге. — Она пишет, что ты жалкий трус. Что ты приносил ей эти окровавленные тряпки и выдавал их за дефицит. Она сдала тебя с потрохами, Володя. Она рассказала, как ты стирал кровь с брюк в ее ванной. Она смеялась над тобой на допросе. Сказала, что ты импотент и ничтожество.

Слова бьют хлестко, как пули. В самое больное место. В его гордость.

Маска трескается. Слышно почти физический хруст.

Ионесян бледнеет. Его губы начинают дрожать. Он смотрит на протокол, на знакомый почерк, и в его глазах впервые появляется настоящий, животный страх. Не страх расстрела. Страх унижения. Страх того, что его идеальный образ, его грандиозный спектакль разрушен руками женщины, которую он считал своей собственностью.

— Она... она сука... — шипит он сквозь зубы.

Следователь наклоняется через стол. Лицо к лицу.

— Она просто жить хочет, Володя. А ты труп. Ты уже гниешь. Вопрос только в том, как ты уйдешь. Как жалкая мокрица, сдающаяся под тяжестью улики, или как человек, который хотя бы перед смертью перестал врать.

Пауза повисает под сводами камеры. Тяжелая. Вязкая.

Он смотрит на детский свитер. На протокол. На свои руки. Пальцы мелко трясутся. Иллюзия величия осыпалась пеплом. Остался только мелкий, жестокий подонок, зажатый в угол.

Он тяжело сплывает.

— Дайте курить, — хрипит он. Голос потерял бархат. Стал сиплым, жалким.

Следователь молча протягивает ему «Беломор» и чиркает спичкой.

Ионесян глубоко затягивается. Дым вырывается из его ноздрей. Он смотрит на огонек сигареты, словно видит его в последний раз.

— Я всё расскажу, — тихо говорит он. — Начинайте писать, начальник.

Следователь придвигает к себе чистый лист протокола. Берет ручку.

— Имя. Фамилия.

Плотина прорвана. Запинаясь, глотая слова, первый советский серийный убийца начинает свою исповедь. Он рассказывает всё. Смакует детали. Вспоминает, как хрустели кости под ударами топора. Как пахла кровь. Как он репетировал перед зеркалом свое смертельное «Мосгаз».

Система победила. Глухарь раскрыт. Но в этой камере, среди сизого дыма и запаха страха, нет чувства триумфа. Есть только бесконечная, черная усталость. И понимание того, что мир уже никогда не будет прежним. Двери навсегда останутся закрытыми.

Свинцовая точка и железные засовы.

Верховный суд РСФСР. Конец января тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года.

Процесс был скорым. Беспрецедентно, пугающе скорым. Между задержанием в заснеженной Казани и оглашением приговора прошли считанные дни. Система не терпела, когда ей плевали в лицо. Система хотела смыть этот позор как можно быстрее. Никаких многомесячных

разбирательств. Никаких адвокатских хитросплетений, психологических экспертиз и поисков тяжелого детства. Партии не нужен был цирк с конями. Партии нужен был труп.

Зал суда дышал казенным холодом. Тяжелые дубовые панели на стенах. Высокие потолки, съедающие эхо. Воздух спертый, пахнувший старой бумагой, сургучом и мужским потом.

Заседание закрытое. Никаких зевак. Никаких журналистов с блокнотами. Только свои. Судьи с непроницаемыми лицами, прокурор, чеканящий слова, конвой с каменными челюстями. И он. Владимир Ионесян. Человек-невидимка. Первый официальный серийник страны победившего социализма.

Он сидит на скамье подсудимых. Мелкий. Ссутулившийся. Маска гениального актера окончательно сползла, обнажив серую, дрожащую суть. Он больше не играет в спецаргента. Он понимает: это конечная станция. Дальше рельсов нет.

Тишину зала нарушает только пулеметный стук пишущей машинки. Секретарь вбивает каждое слово в протокол. Кляц-кляц-кляц. Как гвозди в крышку гроба.

Прокурор зачитывает обвинительное заключение. Сухой, канцелярский язык. Без эмоций. Без надрыва.

«Проник в жилище под предлогом проверки газового оборудования... Нанес множественные рубленые раны... Завладел имуществом на сумму...»

За этими картонными, бесцветными фразами — океан крови. За ними — расколотые детские черепа и лужи на паркете. Канцелярит убивает эмпатию. Он превращает страшную, нечеловеческую бойню в статистику. В сухие цифры ущерба. Вещдоки лежат на столе: туристический топорик с потемневшим лезвием, детский свитер, дешевый одеколон. Они выглядят нелепо в этом монументальном зале. Мусор, ради которого хищник перерезал глотки.

Судья встает. Зал замирает. Слышно, как за окном воет январский ветер, швыряя колючий снег в высокие стекла.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Эта фраза всегда звучит как удар молота. В ней нет места сомнениям. Она падает сверху вниз, придавливая к полу.

— Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговорила: Ионесяна Владимира Моисеевича признать виновным... Назначить исключительную меру наказания. Расстрел.

ВМН. Высшая мера. Расстрельная статья.

Ионесян вздрагивает, словно пуля уже вошла ему в затылок. Его губы беззвучно шевелятся. Он пытается что-то сказать, запросить пощады, написать кассацию. Но его уже не слушают. Он переведен из статуса подсудимого в статус спецконтингента. В статус ходячего мертвеца. Конвой жестко берет его под руки. Щелчок наручников. Зал пустеет. Глухарь закрыт официально. Свинцовая печать поставлена.

Смертников не держат долго. Особенно таких. Хрущев лично держит дело на контроле. Приказ: исполнить немедленно. Стереть ублюдка с лица земли.

Тридцать первое января тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года. Подвалы СИЗО.

Там нет романтики. Нет последних слов и пафосных речей перед строем солдат. Исполнение приговора — это обыденная, рутинная, грязная работа.

Длинный коридор, выкрашенный масляной краской до половины стены. Запах сырости, хлорки и застарелого животного страха. Страх здесь вьелся в кирпичи. Он сочится из щелей. Ионесяна ведут по коридору. Шаги гулко отдаются под сводами. Лязгают тяжелые металлические засовы.

Специальное помещение. Обитые звукоизоляцией двери. Сточная канава в полу.

Ему зачитывают бумагу. Отказ в помиловании. Приговор окончательный. Исполнитель стоит сзади. Обычный человек в форме. Для него это просто смена. Такая же, как у токаря на заводе. Только инструмент другой. Табельный пистолет. Надежный, безотказный механизм.

Стук сердца смертника отдается в ушах. Последняя секунда длится вечность.

Сухой хлопок. Запах сгоревшего пороха смешивается с запахом меди. Тело тяжело оседает на бетонный пол.

Врач констатирует смерть. Заполняется акт. «Приговор приведен в исполнение». Короткая подпись. Печать.

Кровь смывают из шланга в сток. Тело увозят. Никаких похорон. Никакой могилы. Безымянный ров. Система стерла его ластиком. Как будто его никогда не существовало.

Но он остался. Ионесян сгнил, но его тень накрыла огромную страну.

Следствие праздновало победу. МУР выдохнул. Звездочки легли на погоны, ордена приколоты к кителям. Преступник уничтожен. Но когда опера вышли на улицы Москвы, они увидели другой город. Город, который изменился навсегда.

Оттепель закончилась. Не в политическом смысле. В человеческом.

Советский Союз десятилетиями строился на идее тотального доверия. Человек человеку — друг, товарищ и брат. Мой дом — твой дом. Ключи под ковриком. Ключи на веревочке на шее у первоклассника. Открытые двери коммуналки. Доверие к людям в форме. К работникам госслужб. К сантехникам, почтальонам, газовщикам. Идеология вбивала в головы: враги там, за железным занавесом. А здесь все свои.

Ионесян взял этот фундамент и разбил его вдребезги своим туристическим топориком.

Паника первых недель расследования переросла в холодную, системную паранойю. Страх прописался в каждой квартире.

Магазины скобяных изделий пережили небывалый шторм. Это был первый грандиозный дефицит эпохи, не связанный с продуктами питания. Люди сметали с прилавков всё, что могло закрыть, запереть, заблокировать дверь. Амбарные замки. Тяжелые врезные механизмы. Металлические засовы. Дверные цепочки.

Хлипкие деревянные двери, обитые дерматином, которые раньше открывались хорошим пинком, теперь напоминали сейфовые заграждения. Мужики на заводах в тайне от начальства вытачивали на станках сложные самодельные замки. Цепочка стала символом эпохи. Дверь больше не распахивали настежь — ее приоткрывали на жалкие десять сантиметров, вглядываясь в лестничную клетку.

Но главным символом этой травмы стал дверной глазок.

До дела «Мосгаза» глазков в советских квартирах практически не было. Зачем смотреть, кто пришел, если пришли свои? Теперь же оптическая промышленность получила негласный заказ снизу. Глазки врезали повсеместно. Люди хотели видеть угрозу до того, как она переступит порог. Миллионы советских граждан научились прятать к холодному стеклу линзы, рассматривая искаженные рыбьим глазом лица на площадке.

Изменилась психология воспитания.

Родители перестали говорить детям: «Слушайся старших». Новая мантра звучала иначе: «Никому не открывай дверь». Ни соседу, ни милиционеру, ни, тем более, работнику газовой службы. Дети, рожденные в шестидесятых, впитали этот страх с молоком матери. Заученное правило: если ты один дома, сиди тихо, как мышь. Не подходи к двери. Не подавай голоса.

Слово «Мосгаз» потеряло свое прямое значение. Оно превратилось в имя нарицательное. В страшилку. В фольклорного монстра, которым пугали непослушных детей. «Не будешь есть кашу — придет Мосгаз и заберет тебя». Жуткая, иррациональная тень с топором за пазухой поселилась в коллективном бессознательном целого поколения.

Настоящие работники коммунальных служб еще долго расплачивались за грехи Ионесяна. Их проклинали, их боялись пускать на порог, у них требовали удостоверения, просуну-

тые в щель под дверь. Профессия газовщика на долгие годы стала ассоциироваться с предчувствием беды.

Мы закрыли это дело. Мы нашли ублюдка, прижали его к ногтю и пустили ему пулю в затылок. МУР отработал чисто. Но мы проиграли в другом. Мы не смогли защитить иллюзию безопасности. Ионесян показал всей стране, что монстры не прячутся в темных лесах или на страницах западных газет. Монстры носят шапки-ушанки, ездят с тобой в одном трамвае и стучатся в твою дверь средь бела дня.

Хрущевская оттепель не смогла растопить этот новый, ледяной страх. Звон ключей, убранных из-под ковриков в глубокие карманы пальто, стал реквиемом по эпохе советской наивности. Город накрылся броней из замков и цепочек. И больше никогда ее не снимал.

Глухой стук. Толстая картонная папка тяжело опускается на исцарапанный деревянный стол.

Дело номер... Да какая теперь разница, какой у него номер. Для истории, для криминалистики, для седых оперов Петровки это навсегда останется «Делом Мосгаза».

Я смотрю на эту папку. Серый картон потрепался по краям. Тесемки истрепались, превратились в жалкие нитки. Внутри — сотни страниц убористого машинописного текста. Протоколы допросов. Очные ставки. Сухие рапорты участковых. Заключение судмедэкспертов, от которых до сих пор веет холодом мертвецкой. И фотографии. Черно-белые глянцевые прямоугольники, на которых навечно застыл ужас. Застыла кровь на дощатом полу. Застыли пустые глаза детей, которые просто открыли дверь человеку из государственной службы.

В архиве тихо. Здесь всегда тихо. Это особое место, где время вязнет в густой пыли. В воздухе висит специфический запах. Смесь старой, сохнувшей бумаги, канцелярского клея, сургуча и неуловимого, кисловатого душка человеческой трагедии. Это запах закрытых висяков. Запах работы, которая сделана, но от которой хочется вымыть руки с хозяйственным мылом. Жесткой щеткой. До крови.

Я беру истрепанную тесемку. Медленно завязываю узел. Стягиваю картонные створки, закрывая этого джинна обратно в бутылку.

Свинцовая точка поставлена. Владимир Ионесян давно превратился в лагерную пыль. Безымянная могила, пробитый пулей затылок, полное забвение. Система выплюнула его, как гнилой зуб. Растерла в порошок. Но вкус крови на губах целого поколения остался навсегда.

Это дело заставляет задуматься о вещах, которые не вписываются в милицейские рапорты. О вещах страшных. Экзистенциальных.

Шестидесятые годы. Хрущевская оттепель. Мы запускали космические корабли. Мы строили новые города в непроходимой тайге. Мы искренне верили, что еще немного, еще одно пятилетнее усилие, пара съездов партии — и наступит светлое коммунистическое завтра. Общество всеобщего равенства и братства. Где нет нищеты, нет зависти, нет преступности.

Советская идеология строилась на железобетонном постулате: зло — это пережиток капитализма. Уродливая гримаса буржуазного строя. В стране, где победил пролетариат, для серийных убийц просто не было питательной среды. Не было социальной базы. Считалось, что человек от природы добр, а портит его эксплуатация. Убери эксплуатацию — и тюрьмы опустеют. Останутся разве что мелкие хулиганы да пьяницы, которых быстро перевоспитает товарищеский суд на заводе.

Ионесян взял этот красивый, глянцевый постулат и разрубил его своим туристическим топориком.

Он доказал одну простую, до тошноты страшную истину. Зло нельзя искоренить строем. Его нельзя отменить декретом ЦК КПСС. Его нельзя выжечь передовицами газеты «Правда». Зло не зависит от того, какой флаг висит над Кремлем — красный с серпом и молотом или трехцветный.

Зло заложено в человеческой природе. Оно дремлет где-то в темных, сырых подвалах подсознания. В рептильном мозге. И иногда оно прорывается наружу. Без всякой причины. Без идеологической подоплеки. Просто потому, что хищнику нужно убивать.

Самое паршивое в этой истории — фигура самого хищника.

Когда ловишь маньяка, подсознательно ждешь встречи с монстром. С демоном во плоти. Хочешь увидеть в его глазах бездну. Хочешь почувствовать inferнальный холод. Это как-то оправдывало бы тот животный ужас, который он нагнал на многомиллионный город. Оправдывало бы то, что весь МУР и КГБ месяц бегали за ним, как слепые котят, стирая подошвы и ломая судьбы невинным газовщикам.

Но кого мы увидели в камере на Лубянке?

Мелкого фарцовщика. Неудавшегося тенора. Жалкого, трусливого, тщеславного человека с бегающими глазками. Он не был гением преступного мира. Он не просчитывал ходы на десять шагов вперед. Он ошибался, он оставлял следы, он таскал окровавленные детские вещи своей любовнице, выдавая их за импортный дефицит. Он был банален до одури. Банальность зла в чистом, рафинированном виде. Зло не носит рога и копыта. Оно носит дешевую кепку-восьмиклинку, пахнет одеколоном «Шипр» и говорит обычным, бесцветным голосом: «Мосгаз, открывайте».

Именно эта банальность делала его таким неуязвимым поначалу. Он сливался с серой советской толпой. Он был своим. Винтиком в системе, который вдруг начал вращаться в обратную сторону, перемалывая кости.

«Дело Мосгаза» стало нашей кровавой школой. Жестокой прививкой от профессиональной наивности.

Криминалистика шагнула вперед по трупам. Мы научились вещам, которые раньше казались западной блажью. Фоторобот Софьи Файнштейн стал первым кирпичиком в стену будущей системы профилирования. Мы поняли, что серийного убийцу нельзя ловить методами, которыми ловят вокзальных карманников. Нельзя просто трясти агентуру и делать поквартирный обход. Нужно залезать убийце в голову. Нужно понимать его паттерны. Его почерк. Его спусковые крючки.

В словаре угрозыска появились новые термины. Безмотивный криминал. Серийность. Оперативная психология. Мы стали циничнее. Мы стали жестче. Мы перестали верить в идеального советского человека. Потому что каждый опер, выезжавший на труп ребенка на Балтийской или Шереметьевской, навсегда потерял часть своей души. Там, на залитом кровью паркете, умерла наша вера в сказки. Мы поняли, что тонкая пленка цивилизации рвется от одного удара топором. И под ней — первобытная тьма.

Я провожу рукой по шершавому картону папки. Пыль въедается в подушечки пальцев.

Мы победили в той схватке. Глухарь был раскрыт. Висяк снят с контроля. Приговор приведен в исполнение. Преступник уничтожен физически. Распылен. Но выиграли ли мы войну?

Москва изменилась. Страна изменилась. Эпоха открытых дверей рухнула, как карточный домик.

Тогда, зимой шестьдесят третьего, в душах людей поселился липкий, парализующий страх. И он никуда не ушел. Он просто мутировал. Превратился во въедливую подозрительность. В привычку оглядываться в темном подъезде. В рефлекс: не верить никому, кто стоит по ту сторону порога.

Тот миллион врезных замков, тяжелых засовов и дверных цепочек, что москвичи скупили в хозяйственных магазинах за один месяц, — это не просто металл. Это материализовавшийся страх. Это зримое доказательство того, что общество больше не доверяет само себе.

Мы врезали глазки в двери, чтобы видеть угрозу. Но в итоге мы сами стали смотреть на мир через узкую, искажающую линзу подозрительности. Ионесян заставил целое поколение закрыться в своих квартирах-коробочках и отгородиться от соседей стальными бронешитами.

Он украл у нас базовое чувство безопасности. Украл веру в то, что мир за порогом твоего дома дружелюбен.

Он умер, но его яд до сих пор циркулирует в венах города. В каждом щелчке тяжелого замка. В каждом строгом окрике матери: «Кто там?!». В каждом недоверчивом взгляде через оптику дверного глазка.

Архивная полка ждет. Длинный, бесконечный ряд таких же серых папок. Убийства, грабежи, изнасилования. Хроника человеческого падения, расфасованная по годам и статьям Уголовного кодекса.

Я поднимаю дело «Мосгаза». Оно тяжелое. В нем вес не только бумаги, но и пролитой крови. Вес разбитых иллюзий огромной страны.

Папка становится на свое место в ряду. Плотно прижимается к соседним томам. Сливаются с ними.

Архивная пыль медленно кружится в луче тусклого света, пробивающегося сквозь узкое зарешеченное окно. Я стряхиваю мусор с рук. Беру с вешалки свой плащ. Надвигаю шляпу.

Пора на выход.

За дверью архива гудит Москва. Суетливая, вечно спешащая, равнодушная. Город, который всё забыл, но чьи шрамы ноют к непогоде. Город, в котором прямо сейчас, в эту самую минуту, сотни тысяч ключей поворачиваются в замочных скважинах, запирая людей в их безопасных, одиноких крепостях.

Шаги гулко отдаются в пустом коридоре Петровки. Щелчок выключателя. Тьма поглощает архив. Дело закрыто. Но охота на демонов в человеческом облики не закончится никогда. Пока жив человек — жива и его тень.

Конец записи. Пленка обрывается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.